

ле конфликта, проведенного через все повествование. Это конфликт, вырастающий из неискоренимого стремления человека свободно строить жизнь и объективной невозможности осуществить свою главенствующую духовную потребность. Экзистенциальный конфликт в его специфически негритянском преломлении, мучительный и безысходный.

Безысходность его — не в том, что у Джо чуть не с самого начала появились невымышленные причины ревновать, вообще не в жесткости, сопутствующей его увлечению Доркас. Безысходность — в том, что для героев Моррисон порыв к свободному самоосуществлению означает отказ от собственной личности, какой ее сформировала негритянская история, а подобный отказ невозможен, сколь бы радикально — с внешней стороны — ни менялась их участь.

Выходка Вайолет на отпевании кажется немотивированной, однако она объяснима. Воспитанная Городом Доркас воплощала собой все то, что для Вайолет, как и для Джо, было искуше-

нием, но недостижимостью: юность, будущее, сравнительную несвязанность трагическим наследием и небеспочвенную надежду когда-нибудь избавиться от отчужденности, которую создает раса. Зачем было набрасываться с ножом на мертвую? — допытывается Элис Манфред. И слышит в ответ: «Чтобы ее убить. И убить себя, убившую ее». А дальше? «Дальше снова стать собою — женщиной, которую поняла бы и полюбила моя мать».

Это возвращение к себе дается намного проще, чем попытка себя преодолеть, и в финале перед читателем — вполне безликая обывательская чета, доживающая остаток дней. Но закон джазовой композиции выдержан писательницей до конца, и сквозь намеренную обесцвеченность заключительных страниц пробьется щемящая нота, надолго запоминающаяся читателям книги — необычной, во многом новаторской, быть может, лучшей у Тони Моррисон и наглядно опровергающей критический скепсис относительно творческих возможностей сегодняшней американской прозы.

А.ЗВЕРЕВ

Эли ВИЗЕЛЬ

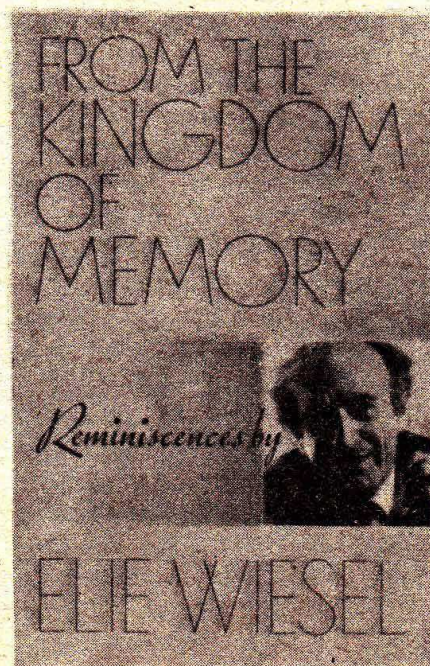
Из царства памяти.

Воспоминания

Wiesel, Elie. From the Kingdom of Memory. Reminiscences
N.Y., Summit Books, 1990. 250 p.

Эли Визель по сей день почти никому у нас не известен. Всего несколько лет назад казалось, что его имя так навсегда и останется под запретом. Даже признание Визеля Нобелевской премии мира никак у нас не комментировалось, хотя в 1986 году гласность уже была провозглашена официальным советским курсом.

Удивляться нечему: в Нобелевской лекции Визель заявил, что свою премию рассматривает как знак солидарности со



всеми невинно преследуемыми, и первым среди них назвал А.Д.Сахарова, тогда еще не возвращенного из горьковской ссылки. А весь день перед церемонией провел, обзванивая наших отказников, которых вспомнил и в своей речи, принимая лауреатский диплом.

Впрочем, советский официоз, можно не сомневаться, молчал бы о Визеле и без подобных вызывающих действий с его стороны. С именем Визеля теснейшим образом связана реконструкция доподлинной истории Холокоста, а эта тема изначально воспринималась нашей казенной идеологией как нежелательная. Визель — один из немногих, кто выжил, пройдя через Бухенвальд, где погибли его мать и малолетняя сестра. И всю свою деятельность историка, публициста, писателя, общественного обвинителя на процессах над нацистскими преступниками он воспринимает как исполнение нравственного долга перед шестью миллионами казненных, когда осуществлялось «окончательное решение еврейского вопроса», как в программных фашистских документах обозначался геноцид.

Память — для Визеля ключевое слово, ибо «после Освенцима все возвращается к Освенциму»; между тем именно таких возвращений и напоминаний решительно не допускала атмосфера «реального социализма» с антисемитской подкраской. В 1965 году Визель впервые посетил Киев и, увидев на месте Бабьего Яра пустырь, где не было хотя бы скромной плиты в напоминание о расстрелах, написал об испытанном им потрясении. Власти выкручивались, заверяя, что вскоре будетobelisk. Его действительно поставили, но из надписи сложно догадаться, кто были сто тысяч погибших на этой окраине в сентябре 1941 года. Надпись оповещает о «советских людях», ставших жертвами оккупации. «Для нас, — объяснил Визелю киевский прокурор, — не имеет значения, евреи, не евреи...» Типичная советская ложь, особенно режущая слух оттого, что подается она как в высшей степени демократический принцип.

Разумеется, Визеля эта демагогия не могла обмануть. Люди с его жизненным опытом всегда обладают повышенной чувствительностью, позволяющей рас-

познавать даже куда более изощренный обман, коль скоро дело коснется того, что раз и навсегда определило характер их восприятия жизни: ГУЛАГа, как у Солженицына, или, как у Визеля, Холокоста. Среди написанного последним (а это около тридцати книг, включая романы и драматургию) далеко не все напрямую затрагивает трагедию геноцида. Но и в тех случаях, когда Визель размышляет о сущности хасидизма, создает притчу на библейский сюжет или пишет о расстрелянных НКВД еврейских писателях, совершенно ясно, какое миропонимание доносят такие страницы и каковы истоки этого миропонимания.

«Я вовсе не собирался становиться романистом, — признается Визель. — Единственная роль, которую я для себя принял, — это роль свидетеля. Выжив по чистой случайности, я убежден, что моя обязанность — придать смысл самому этому факту, найдя оправдание каждому мигу жизни, какой я с тех пор живу».

Итак, оправдание Визель видит в том, чтобы не допустить забвения, которое для уцелевших — такой же кошмар, как испытанная ими на себе ненависть к нации. За без малого пятьдесят лет, прошедших после Холокоста, чудовищная реальность происшедшего перестала восприниматься непосредственно, и само это событие сделалось, как ни дико сказать, чем-то вроде мифа, обладающего для новых поколений достаточно смутными коннотациями. Визель убеждался в этом множество раз, сталкиваясь не только с попытками задним числом подправить и приукрасить историю, положив конец «ненужной экзальтации», но и с неправдоподобными в глазах людей его поколения посягательствами китча на пережитое жертвами геноцида: идут мелодрамы об Освенциме, снимаются фильмы о гетто, заставляющие смеяться над ловкими проделками неунывающих скрипачей из виленского уличного оркестра. «Мы живем во времена, когда Холокост десакрализуется всеми возможными способами».

До какой-то степени подобная амнезия неизбежна — в силу особенностей человеческой психологии и по законам

исторической памяти, неспособной удержать реально бывшее в действительной его полноте. Есть, однако, причины не столь очевидные, но для Визеля самые главные и всего более мучительные. Ему лучше остальных известно, что «рассказать о Треблинке и Освенциме невозможно». «Хотя я пытался, — говорит он. — Видит Бог, я пытался». Не понапрасну ли?

Этот вопрос возникает в книге воспоминаний и статей Визеля все снова и снова. Стало трюизмом высказывание Т.Адорно о невозможности поэзии после нацистских лагерей — высказывание, много раз опровергнутое свидетельствами того, что поэзия все-таки существует, в том числе и та, что напрямую касается лагеря смерти, как, например, в выдающемся романе У.Стайрона «Выбор Софи»¹ (1979, рус. пер. — М.: Радуга, 1991). Однако даже и такие свидетельства не снимают до конца проблемы. Как пишет Визель, «преступление абсолютно, а значит, язык, которым о нем рассказывают, любой язык — недостаточен. Вот отчего каждому выжившему ведомо чувство своей беспомощности». Не пережившие Освенцим никогда не смогут реально представить себе, чем он был, — каким же образом свидетелю выполнить свое назначение?

«Из царства памяти» — автобиографический коллаж, вместивший в себя воспоминания и публицистику, Нобелевскую речь и показания на процессе Барбье, коллаборациониста из Лиона, повинного в гибели сотен евреев. Пестрота материала, однако, не препятствует целостности впечатления, ибо главная тема Визеля остается неизменной: ее можно определить как попытку прорыва через молчание, которым с годами все плотнее обволакивается Холокост. Обволакивается оттого, что молчание это искусственно стимулируется; но еще и по другой причине: Освенцим провоцирует молчание, сопротивляясь любым попыткам его объяснить.

По сути, Визель и не предпринимает таких попыток. Несколько раз на страницах книги возникают навсегда ему

запомнившиеся картины отрочества: эшелон, который летом 1944 года доставил в Бухенвальд очередную партию предназначенных для газовых печей, бараки, колючая проволока до самого горизонта, столбы дыма из труб крематория. Но все это своего рода пастиши, поскольку детальная реконструкция, по Визелю, просто невозможна, если добиваться абсолютной правды — а такая правда должна быть именно абсолютной, или предпочтительнее молчание.

Тридцать пять лет спустя с группой таких же, как он, чудом выживших Визель совершает поездку в Биркенау и Освенцим, испытывая странное чувство. Это не возвращение в минувшее — «уцелевшие не возвращаются: они отсюда никуда не уезжали». Над оборудованной по последнему слову немецкой техники Голгофой мирно светит солнце, слоняются между рядами барачных турки, в киоске можно купить красиво напечатанные открытки. «Данте ничего не понял... Ад — это чарующий пейзаж, когда буквально останавливается дыхание».

В ту поездку Визель окончательно уверился, что рассказать об Освенциме нельзя; нельзя даже поделиться пережитым с теми, кто тоже прошел через этот кошмар. Пока, сопровождаемые польскими чиновниками, сорок бывших узников, составлявшие делегацию, посланную американским Конгрессом, совершали свое паломничество, никто ни словом не обмолвился об испытанном здесь тридцатилетие назад — только молча молились и возлагали венки. Помимо всего остального, Освенцим с жесточайшей наглядностью продемонстрировал экзистенциальное одиночество, ставшее человеческим уделом. Поездка в сделавшийся музеем Освенцим для Визеля оказалась травмирующим прикосновением к этому одиночеству. На его взгляд, тут — главная причина еврейской трагедии в годы оккупации и главный ее урок на будущее.

Не все согласятся с таким выводом, вспомнив хотя бы о восстании в Варшавском гетто и о Сопротивлении, не прекращавшемся даже в лагерях. Визель, однако, и не навязывает своих мнений. Естественно, впрочем, что для него понятиями, приобретающими клю-

¹ См. «Соврем. худож. литература за рубежом», 1980, № 2.

чевое значение, когда описывается наша эпоха, остаются «бессмыслица, абсурд и отчуждение». Но намного существеннее, что и эта тотальная «бессмыслица», и неизбежность молчания не заставили Визеля принять как данность, что истина должна остаться неизреченной. Он не верит, что кому-то удастся ее выразить, и тем не менее пытается сделать это сам — хотя бы из чувства долга перед жертвами и без надежды на успех.

Чаще всего на его страницах это делается не впрямую. Есть несколько персонажей, переходящих из одной книги Визеля в другую, — хасид, ребенок, старик, нищий, юридивый. «Все они составляют пейзаж моей души. Почему? Потому что их преследовали и убивали, а я даю им укрытие... пусть они уцелеют хотя бы в воспаленной фантазии моих персонажей. И это для них я пишу».

Прикарпатский город, непримечательное еврейское местечко, где слышна венгерская, румынская, украинская речь, — тоже обязательная часть духовного ландшафта, открывающегося читателям Визеля. «Он мне необходим — как точка отсчета и как прибежище, — поясняет автор. — Это целый мир, более не существующий: солнечный, та-

инственный городок, где нищие казались принцами, переодетыми в лохмотья, а юридивые на самом деле были мудрецами, покончившими для себя со всеми условностями».

Городок называется Сигет; теперь это Румыния, и из тридцати синагог осталась только одна. За три недели до высадки союзников на нормандском побережье отсюда был отправлен эшелон, так спешивший в Бухенвальд, что, пропуская его, на железных дорогах останавливали составы с оружием. Жизнь юного Эли Визеля в тот день переломилась и навсегда другим стало его зрение. Однако лишь отчетливее и целостнее выступил увиденный таким взглядом мир, от которого не уцелело почти ничего, когда по нему, давя и сокрушая, прокатилось колесо трагической истории нашего века. И сама эта обостренная память, которой наполнены книги Визеля, — лучший аргумент против молчания, хотя бы оно и было естественной реакцией на Холокост — событие, непереносимое для нормально устроенного человеческого сознания.

Как сказано в одной старинной еврейской книге, «враг может нас убить, но он бессилен против того, что мы собой воплощаем».

А.ЗВЕРЕВ